



Варлам Шаламов

Артист лопаты
(сборник рассказов)

ФТМ



Варлам Шаламов
Артист лопаты (сборник)

«ФТМ»
1955-1965

Шаламов В. Т.

Артист лопаты (сборник) / В. Т. Шаламов — «ФТМ», 1955-1965

ISBN 978-5-4467-0513-9

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы. Написанное Шаламовым – это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.

ISBN 978-5-4467-0513-9

© Шаламов В. Т., 1955-1965

© ФТМ, 1955-1965

Содержание

Припадок	5
Надгробное слово	7
Как это началось	15
Почерк	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Варлам Шаламов

Артист лопаты (сборник)

Припадок

Качнулась стена, и горло мое захлестнуло знакомой сладкой тошнотой. Обгорелая спичка на полу в тысячный раз проплывала перед глазами. Я протянул руку, чтоб схватить эту надоевшую спичку, и спичка исчезла – я перестал видеть. Мир еще не ушел от меня вовсе: там, на бульваре, был еще голос, отдаленный, настойчивый голос медицинской сестры. Потом замелькали халаты, угол дома, звездное небо, возникла огромная серая черепаха, глаза ее блестели равнодушно; кто-то выломал ребро черепахи, и я вполз в какую-то нору, цепляясь и подтягиваясь на руках, доверяя только рукам.

Я вспомнил чужие настойчивые пальцы, умело пригибавшие мою голову и плечи к постели. Все стихло, и я остался один на один с кем-то огромным, как Гулливер. Я лежал на доске, как насекомое, и кто-то меня пристально рассматривал в лупу. Я поворачивался, и страшная лупа следовала за моими движениями. Я изгибался под чудовищным стеклом. И только тогда, когда санитары перенесли меня на больничную койку и наступил блаженный покой одиночества, я понял, что Гулливерова лупа не была кошмаром – это были очки дежурного врача. Это обрадовало меня несказанно.

Голова болела и кружилась при малейшем движении, и нельзя было думать можно было только вспоминать, и давние пугающие картины стали являться как кадры немого кино, двухцветные фигуры. Сладкая тошнота, похожая на эфирный наркоз, не проходила. Она была знакомой, и это первое ощущение было теперь разгадано. Я вспомнил, как много лет назад, на Севере, после шестимесячной работы без отдыха впервые был объявлен выходной день. Каждый хотел лежать, лежать, не чинить одежды, не двигаться... Но всех подняли с утра и погнали за дровами. В восьми километрах от поселка шла лесозаготовка – нужно было выбрать бревно по силе и донести домой. Я решил идти в сторону – там километрах в двух были старые штабеля, там можно было найти подходящее бревно. Идти в гору было трудно, и когда я добрался до штабеля – легких бревен там не оказалось. Выше чернели разваленные поленницы дров, и я стал подниматься к ним. Здесь были тонкие бревна, но концы их были зажаты штабелем, и у меня не хватило сил выдернуть бревно. Я несколько раз принимался и изнемог окончательно. Но вернуться без дров было нельзя, и, собирая последние силы, я пополз еще выше к штабелю, засыпанному снегом. Я долго разгребал рыхлый скрипучий снег ногами и руками и выдернул наконец одно из бревен. Но бревно было слишком тяжелым. Я снял с шеи грязное полотенце, служившее мне шарфом, и, привязав вершину, потащил бревно вниз. Бревно прыгало и било по ногам. Или вырывалось и бежало под гору быстрее меня. Бревно застревало в кустах стланника или втыкалось в снег, и я подползал к нему и снова заставлял бревно двигаться. Я был еще высоко на горе, когда увидел, что уже стемнело. Я понял, что прошло много часов, а дорога к поселку и к зоне была еще далеко. Я дернул шарф, и бревно снова скачками кинулось вниз. Я вытащил бревно на дорогу. Лес закачался перед моими глазами, горло захлестнула сладкая тошнота, и я очнулся в будке лебедчика – тот оттирал мне руки и лицо колючим снегом.

Все это виделось мне сейчас на больничной стене.

Но вместо лебедчика руку мою держал врач. Аппарат Рива-Роччи для измерения кровяного давления стоял здесь же. И я, поняв, что я не на Севере, обрадовался.

– Где я?

– В институте неврологии.

Врач что-то спрашивал. Я отвечал с трудом. Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний.

1960

Надгробное слово

Все умерли...

Николай Казимирович Барбэ, один из организаторов Российского комсомола, товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, бригадир, расстрелян за невыполнение плана участком, на котором работала бригада Барбэ, по рапорту молодого начальника участка, молодого коммуниста Арма – он получил орден за 1938 год и позже был начальником прииска, начальником управления – большую карьеру сделал Арм. У Николая Казимировича Барбэ была бережно хранимая вещь – верблюжий шарф, голубой длинный теплый шарф, настоящий шерстяной. Его украли в бане воры – просто взяли, да и все, когда Барбэ отвернулся. И на следующий день Барбэ поморозил щеки, сильно поморозил – язвы так и не успели зажить до его смерти...

Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной работяги не хотели работать. А Иоська работал. Он был гораздо сильнее, ловчее меня. Но он понимал хорошо, зачем нас сюда привезли. И не обижался на меня, работавшего плохо. В конце концов старший смотритель – так и назывались горные чины в 1937 году, как в царское время, – велел дать мне «одиночный замер» – что это такое, будет рассказано особо. А Иоська работал в паре с кем-то другим. Но места наши в бараке были рядом, и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа:

– Рютин? Одевайся.

И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнувший бараном человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногого нашлись шахматы, и кожаный человек отложил их в сторону.

– Это – мои, – сказал торопливо Рютин. – Моя собственность. Я платил деньги.

– Ну и что ж? – сказала овчина.

– Оставьте их.

Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила:

– Тебе они больше не понадобятся...

Умер Дмитрий Николаевич Орлов, бывший референт Кирова. С ним мы пилили дрова в ночной смене на прииске и, обладатели пилы, работали днем на пекарне. Я хорошо помню, сколь критическим взглядом обвел нас инструментальщик-кладовщик, выдавая пилу, обыкновенную поперечную пилу.

– Вот что, старик, – сказал инструментальщик. Нас всех в это время звали стариками – не то что двадцать лет спустя. – Можешь наточить пилу?

– Конечно, – сказал Орлов поспешно. – А разводка есть?

– Топором разведешь, – сказал кладовщик, уразумевший уже в нас людей знающих, не то что эти интеллигенты.

Орлов шел по тропке согнувшись, засунув руки в рукава. Пилу он держал под мышкой.

– Послушайте, Дмитрий Николаевич, – сказал я, догоняя Орлова вприпрыжку. – Я ведь не умею. Никогда пилы не точил.

Орлов повернулся ко мне, воткнул пилу в снег и надел рукавицы.

– Я думаю, – сказал он назидательным тоном, – что всякий человек с высшим образованием обязан уметь точить и разводить пилу.

Я согласился с ним.

Умер экономист, Семен Алексеевич Шейнин, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти. Мужества у него хватало. Как-то я получил посылку – то, что посылка дошла, было великой редкостью, – и

в ней были авиационные фетровые бурки, и больше ничего. Как плохо знали наши родные условия, в которых мы жили. Я понимал отлично, что бурки украдут, отнимут у меня в первую же ночь. И я их продал, не выходя из комендатуры, за сто рублей десятнику Андрею Бойко. Бурки стоили семьсот, но это была выгодная продажа. Ведь я мог купить сто килограммов хлеба, а если не сто, то купить масла, сахару. Масло и сахар последний раз я ел в тюрьме. И я купил в магазине целый килограмм масла. Я помнил о его полезности. Сорок один рубль стоило это масло. Я купил днем (работали ночью) и побежал к Шейнину – мы жили в разных бараках, отпраздновать посылку. Купил я и хлеба...

Семен Алексеевич взволновался и обрадовался.

– Ну, как же я? Какое я имею право? – бормотал он, взволнованный чрезвычайно. – Нет, нет, я не могу...

Но я уговорил его, и, радостный, он побежал за кипятком.

И тотчас я упал на землю от страшного удара по голове.

Когда я вскочил, сумки с маслом и хлебом не было. Метровое листовое полено, которым меня били, валялось около койки. И все кругом смеялись. Прибежал Шейнин с кипятком. Много лет потом я не мог вспомнить об этой краже без страшного, почти шокового волнения.

А Семен Алексеевич – умер.

Умер Иван Яковлевич Федяхин. Мы с ним ехали одним поездом, одним пароходом. Попали на один прииск, в одну бригаду. Он был философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза. Колхозы, как известно, первые организовывались эсерами в двадцатых годах, а группа Чайнова – Кондратьева представляла их интересы «наверху»... Иван Яковлевич и был деревенским эсером – в числе того миллиона, который голосовал за эту партию в 1917 году. За организацию первого колхоза он и получил срок – пятилетний срок заключения.

Как-то в самом начале, первой колымской осенью 1937 года, мы работали с ним у грабарки – стояли на знаменитом приисковом конвейере. Тележек-грабарок было две, отцепные. Пока коногон вез одну на промывочный прибор, двое рабочих едва успевали насыпать другую. Курить не успевали, да и не разрешалось это зрителями. Наш коногон зато курил – огромную сигарку, свернутую чуть не из полпачки махорки (махорка еще тогда была), и оставлял на борту забоя нам затянуться.

Коногоном был Мишка Вавилов, бывший заместитель председателя треста «Промимпорт», а забойщиками Федяхин и я.

Не спеша подбрасывая грунт в грабарку, мы говорили друг с другом. Я рассказал Федяхину об уроке, который давался декабристам в Нерчинске, – по «Запискам Марии Волконской» – три пуда руды на человека.

– А сколько, Василий Петрович, весит наша норма? – спросил Федяхин.

Я подсчитал – 800 пудов примерно.

– Вот, Василий Петрович, как нормы-то выросли...

Позднее, во время голода зимой, я доставал табак – выпрашивал, копил, покупал – и менял его на хлеб. Федяхин не одобрял моей «коммерции»:

– Не идет это вам, Василий Петрович, не надо вам это делать...

Последний раз я его видел зимой у столовой. Я дал ему шесть обеденных талонов, полученных мной в этот день за ночную переписку в конторе. Хороший почерк мне иногда помогал. Талоны пропадали – на них были штампы чисел. Федяхин получил обеды. Он сидел за столом и переливал из миски в миску юшку – суп был предельно жидким, и ни одной жиринки в нем не плавало... Каша-шрапнель со всех шести талонов не наполнила одной полулитровой миски... Ложки у Федяхина не было, и он слизывал кашу языком. И плакал.

Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Кайенны. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно – он не хотел верить, как может он, член

Коминтерна, попасть сюда, на советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем он умирал. Это был маленький, слабый человек, побои уже входили в моду... Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся. Он умер один из первых, из самых счастливых. В Москве он работал в ТАССе одним из редакторов. Русским языком владел хорошо.

– В Кайенне было тоже плохо, сказал он мне как-то. – Но здесь – очень плохо.

Умер Фриц Давид. Это был голландский коммунист, работник Коминтерна, обвинявшийся в шпионаже. У него были прекрасные выющиеся волосы, синие глубокие глаза, ребяческий вырез губ. Русского языка он почти не знал, Я встретился с ним в бараке, набитом людьми так тесно, что можно было спать стоя. Мы стояли рядом. Фриц улыбнулся мне и закрыл глаза.

Пространство под нарами было набито людьми до отказа, надо было ждать, чтоб присесть, опуститься на корточки, потом привалиться куда-нибудь к нарам, к столбу, к чужому телу – и заснуть. Я ждал, закрыв глаза. Вдруг рядом со мной что-то рухнуло. Мой сосед Фриц Давид упал. Он поднялся в смущении.

– Я заснул, – сказал он испуганно.

Этот Фриц Давид был первым человеком из нашего этапа, получившим посылку. Посылку ему послала его жена из Москвы. В посылке был бархатный костюм, ночная рубашка и большая фотография красивой женщины. В этом бархатном костюме он и сидел на корточках рядом со мной.

– Я хочу есть, – сказал он, улыбаясь, краснея. – Я очень хочу есть. Принесите мне что-нибудь поесть.

Фриц Давид сошел с ума, и его куда-то увели.

Ночную рубашку и фотографию у него украли в первую же ночь. Когда я рассказывал о нем позднее, я всегда недоумевал и возмущался: зачем, кому нужна была чужая фотография?

– Всего и вы не знаете, – однажды сказал некий хитрый собеседник мой. Догадаться нетрудно. Эта фотография украдена блатными, и, как говорят блатные, для «сеанса». Для онанизма, наивный друг мой...

Умер Сережа Кливанский, товарищ мой по первому курсу университета, с которым мы встретились через десять лет в этапной камере Бутырской тюрьмы. Он был исключен из комсомола в 1927 году за доклад о китайской революции на кружке текущей политики. Университет ему удалось кончить, и он работал экономистом в Госплане, пока там не изменилась обстановка, и Сереже пришлось оттуда уйти. Он поступил по конкурсу в оркестр театра имени Станиславского и был второй скрипкой – до ареста в 1937 году. Он был сангвиник, остряк, ирония его не покидала. Интерес к жизни, к событиям ее также.

В этапной камере все ходили почти голыми, поливались водой, спали на полу. Только герой выдерживал сон на нарах. И Кливанский острил:

– Это пытка выпариванием. После нее нас подвергнут пытке вымораживанием на Севере.

Это было точное предсказание, но это не было нытьем труса. На прииске Сережа был весел, общителен. С энтузиазмом стремился овладеть блатным словарем и радовался как ребенок, выговаривая в надлежащей интонации блатные выражения.

– Вот сейчас я, кажется, припухну, говорил Сережа, заползая на верхние нары.

Он любил стихи, в тюрьме читал их часто на память. В лагере он не читал стихов.

Он делился последним куском, вернее, еще делился... Это значит, что он так и не успел дожить до времени, когда ни у кого не было последнего куска, когда никто ничем ни с кем не делился.

Умер бригадир Дюков. Я не знаю и не знал его имени. Он был из «бытовиков», к пятьдесят восьмой статье не имел никакого отношения. В лагерях на материке он был так называемым председателем коллектива, настроен был не то что романтически, но собирался «играть

роль». Он приехал зимой и выступил с удивительной речью на первом же собрании. У бытовиков бывали собрания – ведь совершившие бытовые и служебные преступления, а равно и рецидивисты-воры считались «друзьями народа», подлежащими исправлению, а не карательному воздействию. В отличие от «врагов народа» осужденных по пятьдесят восьмой статье. Позднее, когда рецидивистам стали давать четырнадцатый пункт пятьдесят восьмой статьи – саботаж (за отказы от работы), весь параграф четырнадцатый был изъят из пятьдесят восьмой статьи и избавлен от многолетних и многообразных карательных мер. Рецидивисты считались «друзьями народа» всегда – до знаменитой бериевской амнистии 1953 года включительно. В жертву теории и крыленковской «резинке» и пресловутой «перековке» были принесены многие сотни тысяч несчастных людей.

На том, первом, собрании Дюков предложил взять под свое руководство бригаду пятьдесят восьмой статьи – обычно бригадир политических был из их же среды. Дюков был неплохой парень. Зная, что крестьяне работают в лагерях отлично, лучше всех, помня, что пятьдесят восьмой статьи среди крестьян было очень много. В этом следует видеть особую мудрость Ежова и Берии, понимавших, что трудовая ценность интеллигенции весьма невысока, а стало быть, производственную задачу лагеря могут не выполнить, в отличие от политической задачи. Но Дюков в такие высокие соображения не вдавался, вряд ли ему приходило в голову что-либо, кроме рабочих качеств людей. Он отобрал себе бригаду исключительно из крестьян и приступил к работе. Это было весной 1938 года. Дюковские крестьяне пробыли всю голодную зиму 1937/38 года. Он не бывал со своими бригадниками в бане, а то бы давно понял, в чем дело.

Они работали неплохо, их надо было только подкормить. Но в этой просьбе Дюкова начальство отказало самым резким образом. Голодная бригада героически вырабатывала норму, работая через силу. Тогда Дюкова стали обсчитывать: замерщики, учетчики, смотрители, прорабы, он стал жаловаться, протестовать все резче и резче, выработка бригады все падала и падала, питание делалось все хуже. Дюков попробовал обратиться к высокому начальству, но высокое начальство посоветовало соответствующим работникам приписать бригаду Дюкова, вместе с самим бригадиром, к известным спискам. Это было сделано, и все были расстреляны на знаменитой Серпантинной.

Умер Павел Михайлович Хвостов. Самое страшное в голодных людях – это их поведение. Все как у здоровых, и все же это – полусумасшедшие. Голодные всегда яростно отстаивают справедливость – если они не слишком голодны, не чересчур истощены. Они – вечные спорщики, отчаянные драчуны. Обычно лишь одна тысячная часть поругавшихся между собой людей на самых предельных нотах доводит дело до драки. Голодные вечно дерутся. Споры вспыхивают по самым диким, самым неожиданным поводам: «Зачем ты взял мое кайло?.. занял мое место?» Кто покороче, понижее, норовит дать подножку и сбить с ног противника. Кто повыше – навалиться и уронить врага своей тяжестью, а потом царапать, бить, кусать... Все это бессильно, не больно, не смертельно и слишком часто, чтобы заинтересовать окружающих. Драк не разбирают.

Вот таким был Хвостов. Он дрался с кем-нибудь каждый день в бараке и в той глубокой отводной траншее, которую копала наша бригада. Он был моим зимним знакомым я не видел его волос. А шапка у него была ушанка с изорванным белым мехом. И глаза темные, блестящие голодные глаза. Я читая иногда стихи, и он смотрел на меня как на полоумного.

Он вдруг начал отчаянно бить кайлом по камню траншеи. Кайло было тяжелым, Хвостов бил наотмашь, почти без перерыва бил. Я подивился такой силе. Мы давно были вместе, давно голодали. Потом кайло упало и зазвенело. Я оглянулся. Хвостов стоял, расставив ноги, и качался. Колени его сгибались. Он качнулся и упал лицом вниз. Он вытянул далеко вперед руки в тех самых рукавицах, которые он каждый вечер сам штопал. Руки открылись – на обоих предплечьях была татуировка. Павел Михайлович был капитан дальнего плавания.

Роман Романович Романов умирал на моих глазах. Когда-то он был у нас кем-то вроде командира роты: выдавал посылки, следил за чистотой в лагерной зоне, словом, был на таком привилегированном положении, о каком и мечтать не мог никто из нас, пятьдесят восьмой статьи и «литерок», как говорили блатные, или «литерников», как произносят это слово высшие чиновники лагерей. Предел наших мечтаний – работа прачки в бане или починок ночным портным. Все, кроме камня, было нам запрещено московскими «особыми указаниями». Такая бумага шла при деле каждого из нас. А вот Роман Романович был на такой недоступной должности. И даже быстро освоился с ее секретами: как открывать посылочный ящик, чтобы сахар сыпался на пол. Как разбить банку с вареньем, закатить под топчан сухари и сушеные фрукты. Всему этому Роман Романович обучился быстро и знакомств с нами не поддерживал. Он был строго официален и держался как вежливый представитель того высокого начальства, с которым мы личного общения иметь не могли. Он никогда ничего не советовал нам. Он только разъяснял: письмо можно посылать одно в месяц, посылки выдаются с 8 до 10 вечера в лагерной комендатуре и такое подобное. Мы не завидовали Роману Романовичу, мы только удивлялись. Очевидно, тут сыграло роль какое-то личное случайное знакомство Романова. Впрочем, он был недолго, всего месяца два, командиром роты. Прошла ли очередная поверка штата (время от времени, и обязательно к Новому году, такие проверки устраиваются) или кто-либо «дунул» – пользуясь красочным лагерным выражением. Но Роман Романович исчез. Он был военный работник, полковник, кажется. И вот через четыре года я попал на «витаминную командировку», где собирали хвою стланика – единственного вечнозеленого растения здесь. Эту хвою свозили за много сотен верст на витаминный комбинат. Там ее варили, и хвоя превращалась в тягучую коричневую смесь невыносимого запаха и вкуса. Ее заливали в бочки и развозили по лагерям. Тогдашней местной медициной это считалось главным общедоступным и обязательным средством от цинги. Цинга свирепствовала, да еще в сочетании с пеллагрой и прочими авитаминозами. Но все, кому доводилось проглотить хоть каплю этого страшного снадобья, соглашались лучше умереть, чем лечиться подобной чертовщиной. Но были приказы, а приказ есть приказ, и пищу в лагерях не давали до той поры, пока порция лекарства не будет проглочена. Дежурный стоял тут же со специальным крошечным черпачком. Войти в столовую было нельзя, минуя раздатчика стланика, и так то самое, чем особенно дорожил арестант обед, пища, было непоправимо испорчено этой предварительной обязательной зарядкой. Так длилось более десяти лет... Врачи пограмотней недоумевали – как может сохраняться в этой клейкой мази витамин С, чрезвычайно чувствительный ко всяким переменам температуры. Толку от лечения не было никакого, но экстракт продолжали раздавать. Тут же, рядом со всеми поселками, было очень много шиповника. Но шиповник никто и не решался собирать – о нем ничего не говорилось в приказе. И только много позже войны, в 1952, кажется, году, было получено, опять-таки от имени местной медицины, письмо, где категорически запрещалась выдача экстракта стланика, как разрушающе действующего на почки. Витаминный комбинат был закрыт. Но в то время, когда я встретился с Романовым, стланик собирали всюю. Собирали его «доходяги» – приисковый шлак, отбросы золотых забоев – полуинвалиды, голодающие-хроники. Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои... В бригаду включались новые люди, и Молох жевал... К концу сезона в бригаде Иванова не оставалось никого, кроме бригадира Иванова. Остальные шли в больницу, «под сопку» и на «витаминные» командировки, где кормили один раз в день и хлеба больше 600 граммов ежедневно получить было нельзя. Мы с Романовым работали в ту осень не на сборе хвои. Мы работали на «строительстве». Мы строили себе дом на зиму – летом мы жили в рваных палатках.

Была отмерена шагами площадь, поставлены колышки, и мы втыкали редкую изгородь в два ряда. Промежуток заполнялся кусками заледеневшего мха и торфа. Внутри были нары из жердей, одноэтажные. Посредине стояла железная печка. На каждую ночь нам давали порцию

дров, вычисленную эмпирически. Однако у нас не было ни пилы, ни топора – эти острорежущие предметы хранились у бойцов охраны, которые жили в отдельной утепленной и обитой фанерой палатке. Пилы и топоры выдавались только по утрам при разводе на работу. Дело в том, что на соседней «витаминной» командировке несколько уголовников напали на бригадира. Блатные чрезвычайно склонны к театральности, внося ее в жизнь так, что им позавидовал бы Евреинов. Бригадира решено было убить, и предложение одного из блатарей – отпилить голову бригадиру – было встречено с восторгом. Голова была отпилена обыкновенной поперечной пилой. Вот поэтому-то был приказ, запрещающий оставлять у заключенных на ночь топоры и пилы. Почему на ночь? Но в приказах никто никогда не искал логики.

Как же резать дрова, чтоб поленья влезли в печку? Более тонкие ломались ногами, а толстые целым пучком с тонкого конца вкладывались в отверстие горящей печки и постепенно сгорали. Кто-нибудь ногой подвигал их глубже всегда было кому присмотреть. Этот свет открытой печной двери и был единственным светом в нашем доме. Пока не выпал снег, домик продувало насквозь, но кругом стен нагребли снега, залили водой – и зимовка наша была готова. Дверь завешивалась обрывком брезента.

Здесь, в этом самом сарае, я и встретился с Романом Романовичем. Он не узнал меня. Одет он был как «огонь», как говорят блатные – и всегда метко, клочья ваты торчали из телогрейки, из брюк, из шапки. Немало раз, верно, приходилось Роману Романовичу бегать «за уголечком», чтобы разжечь папиросу какого-нибудь блатаря... Глаза его блестели голодным блеском, а щеки были такими же румяными, как и раньше, только не напоминали воздушные шары, а туго обтягивали скулы. Роман Романович лежал в углу и с шумом втягивал в себя воздух. Подбородок его поднимался и опускался.

– Кончается, – сказал Денисов, сосед его. – У него портянки хорошие. – И, ловко сдернув с ног умирающего бурки, Денисов отмотал еще крепкие зеленые одеяльные портянки. – ... Вот так, – сказал он, грозно глядя на меня. Но мне было все равно.

Труп Романова выносили, когда нас выстраивали перед разводом на работу. Шапки у него тоже не было. Полы расстегнутого бушлата волочились по земле.

Умер ли Володя Добровольцев, пойнтист? Пойнтист – работа это или национальность? Это была работа, вызывающая зависть в бараках пятьдесят восьмой статьи. Отдельные бараки для политических в общем лагере, где были бараки и «бытовиков» и уголовников-рецидивистов, за общей проволокой, были, конечно, юридическим издевательством. От нападений шпаны и кровавых блатных расчетов это никого не защищало.

Пойнт – это железная труба с горячим паром. Этот горячий пар разогревает каменную породу, смерзшийся галечник; рабочий время от времени выгребает разогретый камень металлической ложкой величиной с человеческую ладонь, с трехметровой рукояткой.

Работа считается квалифицированной, поскольку пойнтист должен открывать и закрывать краны с горячим паром, который идет по трубам из будки, от бойлера примитивного парового приспособления. Быть бойлеристом еще лучше, чем пойнтистом. Не всякий инженер-механик с пятьдесят восьмой статьей мог мечтать о подобной работе. И не потому, что это было квалификацией. Чистой случайностью было то, что из тысяч людей на эту работу был направлен Володя. Но это преобразило его. Ему не приходилось думать о том, как бы согреться вечная мысль... Леденящий холод не пронизывал все его существо, не останавливал работу мозга. Горячая труба спасала его. Вот почему все и завидовали Добровольцеву.

Были разговоры о том, что неспроста он сделан пойнтистом – это верное доказательство, что он осведомитель, шпион... Конечно, блатные всегда говорили – раз санитаром работал в лагере – значит, пил трудовую кровь, и цену подобным суждениям люди знали: зависть плохая советчица. Володя сразу как-то безмерно вырос в наших глазах, как будто среди нас обнаружился замечательный скрипач. А то, что Добровольцев – это надо было по условиям работы – уходил один и, выходя из лагеря через вахту, открыв вахтенное окошечко, кричал туда свой

номер «двадцать пять» таким радостным голосом, громким голосом от этого мы уже давно отвыкли.

Иногда он работал близ нашего забоя. И мы, по праву знакомства, бегали по очереди греться к трубе. Труба была дюйма полтора в диаметре, ее можно было охватить рукой, сжать в кулаке, и тепло ощутимо переливалось из рук в тело, и не было сил оторваться, чтобы возвращаться в забой, в мороз...

Володя не гнал нас, как другие пойнтисты. Никогда он не говорил нам ни слова, хотя я знаю, что пойнтистам было запрещено пускать греться около труб нашего брата. Он стоял, окруженный облаками густого белого пара. Одежда его заледенела. Каждая ворсинка бушлата блестела, как хрустальная игла. Он никогда с нами не разговаривал – все же цена этой работы была, очевидно, слишком дорогой.

В рождественский вечер этого года мы сидели у печки. Железные ее бока по случаю праздника были краснее, чем обыкновенно. Человек ощущает разницу температуры мгновенно. Нас, сидящих за печкой, тянуло в сон, в лирику.

– Хорошо бы, братцы, вернуться нам домой. Ведь бывает же чудо... – сказал коногон Глебов, бывший профессор философии, известный в нашем бараке тем, что месяц назад забыл имя своей жены. – Только, чур, правду.

– Домой?

– Да.

– Я скажу правду, – ответил я. – Лучше бы в тюрьму. Я не шучу. Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным, я знаю, что это пустяк. То, что важно мне – то небольшое, что у меня осталось, ни понять, ни почувствовать им не дано. Я принесу им новый страх, еще один страх к тысяче страхов, переполняющих их жизнь. То, что я видел, человеку не надо видеть и даже не надо знать. Тюрьма это другое дело. Тюрьма – что свобода. Это единственное место, которое я знаю, где люди не боясь говорили все, что они думали. Где они отдыхали душой. Отдыхали телом, потому что не работали. Там каждый час существования был осмыслен.

– Ну, замолол, – сказал бывший профессор философии. Это потому, что тебя на следствии не били. А кто прошел через метод номер три, те другого мнения...

– Ну а ты, Петр Иванович, что скажешь?

Петр Иванович Тимофеев, бывший директор уральского треста, улыбнулся и подмигнул Глебову.

– Я вернулся бы домой, к жене, к Агнии Михайловне. Купил бы ржаного хлеба буханку! Сварил бы каши из магара – ведро! Суп-галушки – тоже ведро! И я бы ел все что. Впервые в жизни наелся бы досыта этим добром, а остатки заставил бы есть Агнию Михайловну.

– А ты? – обратился Глебов к Звонкову, забойщику нашей бригады, а в первой своей жизни крестьянину не то Ярославской, не то Костромской области.

– Домой, – серьезно, без улыбки, ответил Звонков. – Кажется, пришел бы сейчас и ни на шаг бы от жены не отходил. Куда она, туда и я, куда она, туда и я. Вот только работать меня здесь отучили – потерял я любовь к земле. Ну, устройсь где-либо...

– А ты? – рука Глебова тронула колено нашего дневального.

– Первым делом пошел бы в райком партии. Там, я помню, окурков бывало на полу бездна...

– Да ты не шути...

– Я и не шучу.

Вдруг я увидел, что отвечать осталось только одному человеку. И этим человеком был Володя Добровольцев. Он поднял голову, не дожидаясь вопроса. В глаза ему падал свет рдеющих углей из открытой дверцы печки – глаза были живыми, глубокими.

– А я, – и голос его был покоен и нетороплив, – хотел бы быть обрубок. Человеческим обрубок, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами.

(1960)

Как это началось

Как это началось? В какой из зимних дней изменился ветер и все стало слишком страшным? Осенью мы еще рабо...

Как это началось? Бригаду Клюева задержали на работе. Неслыханный случай. Забой был оцеплен конвоем. Забой – это разрез, яма огромная, по краю которой и встал конвой. А внутри копошились люди, торопясь, подгоняя друг друга. Одни – с затаенной тревогой, другие – с твердой верой, что этот день случайность, этот вечер случайность. Придет рассвет, утро и все развеется, все выяснится, и жизнь пойдет хотя и по-лагерному, но по-прежнему. Задержка на работе. Зачем? Пока не выполнят дневного задания. Тонко визжала метель, мелкий сухой снег бил по щекам, как песок. В треугольных лучах «юпитеров», подсвечивающих ночные забои, снег крутился, как пылинки в солнечном луче, был похож на пылинки в солнечном луче у дверей отцовского сарая. Только в детстве все было маленькое, теплое, живое. Здесь все было огромное, холодное и злобное. Скрипели деревянные короба, в которых вывозили грунт к отвалам. Четыре человека хватали короб, толкали, тащили, катили, пихали, волокли короб к краю отвала, разворачивали и опрокидывали, высыпая мерзлый камень на обрыв. Камни негромко катились вниз. Вон – Крупянский, вон – Нейман, вон сам бригадир Клюев. Все спешат, но нет конца работе. Уже было около одиннадцати часов вечера – а гудок был в пять, приисковая сирена прогудела в пять, провизжала в пять, – когда бригаду отпустили «домой». «Домой» в барак. А завтра в пять утра – подъем и новый рабочий день, и новый дневной план. Наша бригада сменяла клюевскую в этом забое. Сегодня нас поставили на работу в соседний забой, и только в двенадцать ночи мы сменили бригаду Клюева.

Как это началось? На прииск вдруг приехало много, очень много «бойцов». Два новых барака, рубленых барака, которые строили заключенные для себя, были отданы охране. Мы остались зимовать в палатках – рваных брезентовых палатках, пробитых камнями от взрывов в забое. Палатки были утеплены: в землю были врыты столбы, и на рейки натянут толь. Между палаткой и толем слой воздуха. Зимой, говорят, снегом забьете. Но все это было после. Наши бараки были отданы охране – вот суть события. Охране бараки не понравились, ведь это были бараки из сырого леса – лиственница дерево коварное, людей не любит, стены, полы и потолки за целую зиму не высохнут. Это все понимали заранее – и те, чьими боками предполагалось сушить бараки, и те, кому бараки достались случайно. Охрана приняла свое бедствие как должную северную трудность.

Зачем на прииске «Партизан» охрана? Прииск небольшой всего две-три тысячи заключенных в 1937 году. Соседи «Партизана» – прииск «Штурмовой» и Берзино (будущий Верхний Ат-Урях) были городами с населением двенадцать четырнадцать тысяч человек заключенных. Разумеется, смертные вихри 1938 года существенно эти цифры изменили. Но все это было после. А сейчас зачем «Партизану» охрана? В 1937 году на прииске «Партизан» был единственный бессменный дежурный боец, вооруженный наганом, легко наводивший порядок в смиренном царстве «троцкистов». Блатари? Дежурный смотрел сквозь пальцы на милые проделки блатарей, на их грабительские экспедиции и гастроли – и дипломатически отсутствовал в особенно острых случаях. Все было «тихо». А теперь вдруг видимо-невидимо конвоиров. Зачем?

Вдруг увезли куда-то целую бригаду отказчиков от работы «троцкистов», которые по тем временам, впрочем, не назывались отказчиками, а гораздо мягче «неработающими». Они жили в отдельном бараке посреди поселка, неогороженного поселка заключенных, который тогда и не назывался так страшно, как в будущем, в очень скором будущем «зоной». «Троцкисты» на законном основании получали шестьсот граммов хлеба в день и приварок, какой положено, и не работали вполне официально. Любой арестант мог присоединиться к ним, перейти в нера-

ботающий барак. Осенью тридцать седьмого года в этом бараке жило семьдесят пять человек. Все они внезапно исчезли, ветер ворочал незакрытой дверью, а внутри была нежилая черная пустота.

Вдруг оказалось, что казенного пайка, пайки – не хватает, что очень хочется есть, а купить ничего нельзя, а попросить у товарища – нельзя. Селедку, кусок селедки еще можно попросить у товарища, но хлеб? Внезапно стало так, что никто никого не угощал ничем, все стали есть, что-то жевать украдкой, наскоро, в темноте, нащупывая в собственном кармане хлебные крошки. Поиски этих крошек стали почти автоматическим занятием человека в любую свободную его минуту. Но свободных минут становилось все меньше и меньше. В сапожной мастерской вечно стояла огромная бочка с рыбьим жиром. Бочка была ростом с полчеловека, и все желающие совали в эту бочку грязные тряпки и мазали свои ботинки. Не сразу я догадался, что рыбий жир – это жир, масло, питание, что эту сапожную смазку можно есть, – озарение было подобно архимедовой эврике. Я бросился, то есть поплелся в мастерскую. Увы бочки в мастерской давно уже не было, другие люди уже шли той же дорогой, на которую я только только вступал.

На прииск были привезены собаки, немецкие овчарки. Собаки?

Как это началось? За ноябрь забойщикам не заплатили денег. Я помню, как в первые дни работы на прииске, в августе и сентябре, около нас, работяг, останавливался горный смотритель – название это уцелело, должно быть, с некрасовских времен и говорил: «Плохо, ребята, плохо. Так будете работать и домой посылать будет нечего». Прошел месяц, и выяснилось, что у каждого был какой-то заработок. Одни послали деньги домой почтовым переводом, успокаивая свои семьи. Другие покупали на эти деньги в лагерном магазине, в ларьке, папиросы, молочные консервы, белый хлеб... Все это внезапно, вдруг кончилось. Порывом ветра пронесся слух, «параша», что больше денег платить не будут. Эта «параша», как и все лагерные «параша», полностью подтвердилась. Расчет будет только питанием. Наблюдать за выполнением плана, кроме лагерных работников, им же имя легион, и кроме производственного начальства, умноженного в достаточное количество раз, – будет вооруженная лагерная охрана, бойцы.

Как это началось? Несколько дней дула пурга, автомобильные дороги были забиты снегом, горный перевал был закрыт. В первый же день, как прекратился снегопад – во время метели мы сидели дома, – после работы нас повели не «домой». Окруженные конвоем, мы шли не спеша нестройным арестантским шагом, шли не один час, по каким-то неведомым тропам двигаясь к перевалу, все вверх, вверх – усталость, крутизна подъема, разреженность воздуха, голод, злоба – все останавливало нас. Крики конвоиров подбодряли нас как плети. Уже наступила полная темнота, беззвездная ночь, когда мы увидели огни многочисленных костров на дорогах близ перевала. Чем глубже становилась ночь, тем ярче горели костры, горели пламенем надежды, надежды на отдых и еду. Нет, эти костры были зажжены не для нас. Это были костры конвоиров. Множество костров в сорокаградусном, пятидесятиградусном морозе. На три десятка верст змеились костры. И где-то внизу в снеговых ямах стояли люди с лопатами и расчищали дорогу. Снеговые борта узкой траншеи поднимались на пять метров. Снег кидали снизу вверх по террасам, перекидывая дважды, трижды. Когда все люди были расставлены и оцеплены конвоем – змейкой костровых огней, – рабочие были предоставлены сами себе. Две тысячи людей могли не работать, могли работать плохо или работать отчаянно – никому до этого не было дела. Перевал должен быть очищен, и пока он не будет очищен никто не тронется с места. Мы стояли в этой снеговой яме много часов, махая лопатами, чтобы не замерзнуть. В эту ночь я понял одну странную вещь, сделал наблюдение, много раз потом подтвержденное. Труден, мучительно труден и тяжел десятый, одиннадцатый час такой добавочной работы, а после перестаешь замечать время – и Великое Безразличие овладевает тобой – часы идут, как минуты, еще скорее минут. Мы вернулись «домой» после двадцати трех часов работы – есть

вовсе не хотелось, и соединенный суточный приварок все ели необычно лениво. С трудом удалось заснуть.

Три смертных вихря скрестились и клокотали в снежных забоях золотых приисков Колымы в зиму тридцать седьмого – тридцать восьмого года. Первым вихрем было «берзинское дело». Директор Дальстроя, открыватель лагерной Колымы Эдуард Берзин¹, был расстрелян как японский шпион в конце тридцать седьмого года. Вызван в Москву и расстрелян. С ним вместе погибли его ближайшие помощники – Филиппов, Майсурадзе, Егоров, Васьков, Цвирко – вся гвардия «вишерцев», приехавшая вместе с Берзиным для колонизации Колымского края в 1932 году. Иван Гаврилович Филиппов был начальником УСВИТЛ², заместителем Берзина по лагерю. Старый чекист, член коллегии ОГПУ, Филиппов был когда-то председателем «разгрузочной тройки» на Соловецких островах. Есть документальный кинофильм двадцатых годов «Соловки». Вот в этой картине и снят Иван Гаврилович в своей тогдашней главной роли. Филиппов умер в Магаданской тюрьме – сердце не выдержало.

«Дом Васькова» – так называлась и называется по сей день Магаданская тюрьма, которую строили в начале тридцатых годов, – потом из деревянной тюрьма превратилась в каменную, сохранив свое выразительное название, начальник был по фамилии Васьков. На Вишере Васьков – человек одинокий проводил выходные дни всегда одинаково: садился на скамейку в саду или в лесочке, заменявшем сад, и стрелял целый день по листьям из мелкокалиберной винтовки. Алексей Егоров – «рыжий Лешка», как его звали на Вишере, был на Колыме начальником производственного управления, объединяющего несколько золотых приисков, кажется, Южного управления. Цвирко был начальником Северного управления, куда входил и прииск «Партизан». В 1929 году Цвирко был начальником погранзаставы и приехал в отпуск в Москву. Здесь после ресторанного кутежа Цвирко открыл стрельбу по колеснице Аполлона над входом в Большой театр – и очнулся в тюремной камере. С его одежды были спороты петлицы, пуговицы. Среди арестантского этапа Цвирко весной 1929 года прибыл на Вишеру и отбывал там положенный трехлетний срок. С приездом на Вишеру Берзина в конце 1929 года карьера Цвирко быстро пошла вверх. Цвирко, еще заключенным, стал начальником командировки «Парма». Берзин не чаял в нем души и взял его с собой на Колыму. Расстрелян Цвирко, говорят, в Магадане. Майсурадзе – начальник УРО, отбывший когда-то срок «за разжигание национальной розни», освободившийся еще на Вишере, тоже был одним из любимцев Берзина. Арестован он был в Москве, во время отпуска, и тогда же расстрелян.

Все эти мертвые – люди из ближайшего берзинского окружения. По «берзинскому делу» арестованы и расстреляны или награждены «сроками» многие тысячи людей, вольнонаемных и заключенных – начальники приисков и лагерных отделений, лагпунктов, воспитатели и секретари парткомов, десятники и прорабы, старосты и бригадиры... Сколько тысячелетий выдано «срока» лагерного и тюремного? Кто знает...

В душливом дыму провокаций колымское издание сенсационных московских процессов, «берзинское дело», выглядело вполне респектабельно.

Вторым вихрем, потрясшим колымскую землю, были нескончаемые лагерные расстрелы, так называемая «гаранинщина». Расправа с «врагами народа», расправа с «троцкистами».

Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные-музыканты из «бытовиков» играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время будто и не о нас шла речь. Все было как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью. Но туш существовал, гремел. Музы-

¹ Э. Берзин расстрелян в августе 1938 г.

² Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей.

канты обмораживали губы, прижатые к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин».

Я видел Гаранина раз пятьдесят. Лет сорока пяти, широкоплечий, брюхатый, лысоватый, с темными бойкими глазами, он носился по северным приискам день и ночь на своей черной машине ЗИС-110. После говорили, что он лично расстреливал людей. Никого он не расстреливал лично – а только подписывал приказы. Гаранин был председателем расстрельной тройки. Приказы читались день и ночь: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин». По сталинской традиции тех лет, Гаранин должен был скоро умереть. Действительно, он был схвачен, арестован, осужден как японский шпион и расстрелян в Магадане.

Ни один из многочисленных приговоров гаранинских времен не был никогда и никем отменен. Гаранин один из многочисленных сталинских палачей, убитый другим палачом в нужное время.

«Прикрывающая» легенда была выпущена в свет, чтобы объяснить его арест и смерть. Настоящий Гаранин якобы был убит японским шпионом на пути к месту службы, а разоблачила его сестра Гаранина, приехавшая к брату в гости.

Легенда – одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время забивало уши и мозг обывателей.

За что же расстреливал полковник Гаранин? За что убивал? «За контрреволюционную агитацию» – так назывался один из разделов гаранинских приказов. Что такое «контрреволюционная агитация» на воле в 1937 году рассказывать никому не надо. Похвалил русский заграничный роман – десять лет «аса»³. Сказал, что очереди за жидким мылом чересчур велики, – пять лет «аса». И по русскому обычаю, по свойству русского характера, каждый, получивший пять лет, – радуется, что не десять. Десять получит – радуется, что не двадцать пять, а двадцать пять получит – пляшет от радости, что не расстреляли.

В лагере этой лестницы – пять, десять, пятнадцать – нет. Сказать вслух, что работа тяжела, – достаточно для расстрела. За любое самое невинное замечание в адрес Сталина – расстрел. Промолчать, когда кричат «ура» Сталину, – тоже достаточно для расстрела. Молчание – это агитация, это известно давно. Списки будущих, завтрашних мертвецов составлялись на каждом прииске следователями из доносов, из сообщений своих «стукачей», осведомителей, и многочисленных добровольцев, оркестрантов известного лагерного оркестра-октета – «семь дуют, один стучит», – пословицы блатного мира афористичны. А самого «дела» не существовало вовсе. И следствия никакого не велось. К смерти приводили протоколы «тройки» – известного учреждения сталинских лет.

И хотя перфокарты еще не были тогда известны, лагерные статистики пытались облегчить себе труд, выпуская в свет «формуляры» с особыми метками. Формуляр с синей полосой по диагонали имели личные дела «троцкистов». Зеленые (или лиловые?) полосы были у «рецидивистов» – разумеется, рецидивистов политических. Учет есть учет. Собственной кровью каждого его формуляр не закрасишь.

Еще за что расстреливали? «За оскорбление лагерного конвоя». Это что такое? Тут речь шла о словесном оскорблении, о недостаточно почтительном ответе, любом «разговоре» – в ответ на побои, удары, толчки. Всякий излишне развязный жест заключенного в разговоре с конвоиром трактовался как «нападение на конвой»...

«За отказ от работы». Очень много людей погибло, так и не поняв смертельной опасности своего поступка. Бессильные старики, голодные, измученные люди не в силах были сделать шаг

³ Антисоветская агитация.

в сторону от ворот при утреннем разводе на работу. Отказ оформляли актами. «Обут, одет по сезону». Бланки таких актов печатались на стеклографе, на богатых приисках даже в типографии заказывали бланки, куда достаточно было вставить только фамилию и данные: год рождения, статью, срок... Три отказа – и расстрел. По закону. Много людей не могли понять главного лагерного закона – ведь для него и лагеря выдуманы, – что нельзя в лагере отказываться от работы, что отказ трактуется как самое чудовищное преступление, хуже всякого саботажа. Надо хоть из последних сил, но доползти до места работы. Десятник распишется за «единицу», за «трудовую единицу», и производство даст «акцепт». И ты спасен. На сегодняшний день от расстрела. А на работе можешь вовсе не работать, да ты и не можешь работать. Выдержи муку этого дня до конца. На производстве ты сделаешь очень немного, но ты не «отказчик». Расстрелять тебя не могут. «Прав», говорят, у начальства в этом случае нет. Есть ли такое «право», я не знаю, но много раз много лет я боролся с собой, чтобы не отказаться от работы, стоя в воротах зоны на лагерном разводе.

«За кражу металла». Всех, у кого находили «металл», расстреливали. Позднее щадили жизнь, давали только срок дополнительный пять, десять лет. Множество самородков прошло через мои руки – прииск «Партизан» был очень «самородным», но никакого другого чувства, кроме глубочайшего отвращения, золото во мне не вызывало. Самородки ведь надо уметь видеть, учиться отличать от камня. Опытные рабочие обучали этому важному умению новичков чтоб не бросали в тачку золото, чтоб не орал смотритель бутары: «Эй, вы, раззявы! Опять самородки на промывку загнали». За самородки платили заключенным премию – по рублю с грамма, начиная с пятидесяти одного грамма. Весов в забое нет. Решить – сорок или шестьдесят граммов найденный тобой самородок – может только смотритель. Дальше бригадира мы ни к кому не обращались. Забракованных самородков я находил много, а к оплате был представлен два раза. Один самородок весил шестьдесят граммов, а другой восемьдесят. Никаких денег я, разумеется, на руки не получил. Получил только карточку «стахановскую» на декаду да по шепотке махорки от десятника и от бригадира. И на том спасибо.

Последняя, самая многочисленная «рубрика», по которой расстреляно множество людей: «За невыполнение нормы». За это лагерное преступление расстреливали целыми бригадами. Была подведена и теоретическая база. По всей стране в это время государственный план «доводили» до станка – на фабриках и заводах. На арестантской Колыме план доводили до забоя, до тачки, до кайла. Государственный план – это закон! Невыполнение государственного плана контрреволюционное преступление. Не выполнивших норму – на луну!

Третий смертный вихрь, уносивший больше арестантских жизней, чем первые два, вместе взятые, была повальная смертность – от голода, от побоев, от болезней. В этом третьем вихре огромную роль сыграли блатари, уголовники, «друзья народа».

За весь 1937 год на прииске «Партизан» со списочным составом две-три тысячи человек умерло два человека – один вольнонаемный, другой заключенный. Они были похоронены рядом под сопкой. На обеих могилах было нечто вроде обелисков у вольного повыше, у заключенного пониже. В 1938 году на рытье могил стояла целая бригада. Камень и вечная мерзлота не хотят принимать мертвецов. Надо бурить, взрывать, выбрасывать породу. Рытье могил и «битье» разведочных шурфов очень похожи по приемам работы, по инструменту, материалу и «исполнителям». Целая бригада стояла только на рытье могил, только общих, только «братских», с безымянными мертвецами. Впрочем, не совсем безымянными. По инструкции, перед захоронением нарядчик, как представитель лагерной власти, привязывал фанерную бирку с номером личного дела к левой лодыжке голого мертвеца. Закапывали всех голыми – еще бы! Выломанные, опять-таки по инструкции, золотые зубы вписывались в специальный акт захоронения. Яму с трупами заваливали камнями, но земля не принимала мертвецов: им суждена была нетленность – в вечной мерзлоте Крайнего Севера.

Врачи боялись написать в диагнозах истинную причину смерти. Появились «полиавитаминозы», «пеллагра», «дизентерия», «РФИ» – почти «Загадка Н.Ф.И.», как у Андроникова. Здесь РФИ – «резкое физическое истощение», шаг к правде. Но такие диагнозы ставили только смелые врачи, не заключенные. Формула «алиментарная дистрофия» произнесена колымскими врачами много позже – уже после ленинградской блокады, во время войны, когда сочли возможным хоть и по-латыни, но назвать истинную причину смерти. «Горение истаявшей свечи, все признаки и перечни сухие того, что по-ученому врачи зовут алиментарной дистрофией. И что не латинист и не филолог определяет русским словом „голод“». Эти строки Веры Инбер я повторял неоднократно. Вокруг меня давно не было тех людей, которые любили стихи. Но эти строки звучали для каждого колымчанина.

Работяг били все: дневальный, парикмахер, бригадир, воспитатель, надзиратель, конвоир, староста, завхоз, нарядчик – любой. Безнаказанность побоев – как и безнаказанность убийств – развращает, растлевает души людей всех, кто это делал, видел, знал... Конвой отвечал тогда, по мудрой мысли какого-то высшего начальства, за выполнение плана. Поэтому конвоиры побойчей выбивали прикладами план. Другие конвоиры поступали еще хуже – возлагали эту важную обязанность на блатарей, которых всегда вливали в бригады пятьдесят восьмой статьи. Блатари не работали. Они обеспечивали выполнение плана. Ходили с палкой по забою – эта палка называлась «термометром», и избивали безответных фраеров. Забивали и до смерти. Бригадир из своих же товарищей, всеми способами стараясь доказать начальству, что они, бригадир, – с начальством, не с арестантами, бригадир старались забыть, что они политические. Да они не были никогда политическими. Как, впрочем, и вся пятьдесят восьмая статья тогдашняя. Безнаказанная расправа над миллионами людей потому-то и удалась, что это были невинные люди.

Это были мученики, а не герои.

1964

Почерк

Поздно ночью Криста вызвали «за конбазу». Так звали в лагере домик, прижавшийся к сопке у края поселка. Там жил следователь по особо важным делам, как острили в лагере, ибо в лагере не было дел не особо важных каждый проступок, и видимость проступка, мог быть наказан смертью. Или смерть, или полное оправдание. Впрочем, кто мог рассказать о своем полном оправдании. Готовый ко всему, безразличный ко всему, Крист шел по узкой тропе. Вот в домике-кухне зажегся свет – это хлеборез, наверное, сейчас начнет нарезать пайки к завтраку. К завтрашнему завтраку. Будут ли завтрашний день и завтрашний завтрак у Криста? Он этого не знал и радовался своему незнанию. Под ноги Кристу попало что-то, непохожее на снег или льдинку. Крист нагнулся, поднял мерзлую корочку и сразу понял, что это шелуха репы, обледеневшая корка репы. Лед уже растаял в руках, и Крист затолкал корочку в рот. Спешить явно не стоило. Крист обошел всю тропу, начиная от края бараков, понимая, что он, Крист, проходит первым по этой длинной снежной дороге, что еще никто до него не проходил здесь, по краю поселка, к следователю сегодня. По всей дороге к снегу примерзли, как завернутые в целлофан, кусочки репы. Крист отыскал их целых десять кусочков – одни больше, другие меньше. Давно уж Крист не видел людей, которые бросали бы в снег корки от репы. Это был не заключенный, вольнонаемный, конечно. Может быть, сам следователь. Крист разжевал и съел все эти корки – во рту его запахло чем-то давно забытым – родной землей, живыми овощами, и с радостным настроением Крист постучал в дверь домика следователя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.